

**В.Б. Ольшанский**

## **БЫЛИ МЫ РАННИМИ...**

---

ОЛЬШАНСКИЙ Вадим Борисович — кандидат философских наук

---

Думаю, что социологическая традиция шестидесятых годов — это в значительной степени следствие второй мировой войны. Меня, например, до войны родители старались держать подальше от социально-политических проблем. Я был пристроен в ленинградский кружок юных зоологов при академическом институте (в те годы каждая организация что-то делала для подрастающего поколения). Школьником как свой человек ходил по дому, где помещалась кунсткамера, где лестница упиралась в выполненное М.В.Ломоносовым мозаичное изображение Полтавской битвы. В конференц-зале Академии моя работа была представлена научной общественности. Помню даже раздавшийся из зала возглас: "Этакого суслика — в президиум?!"

В 1941-ом семья выехала на дачу в Белоруссию. Вскоре началась война, и уже через пять дней стало известно, что приближаются немецкие танки. Мы стали беженцами — шестьсот верст прошли впереди отступающей армии, выбирая глухие проселки, чтобы не попасть под бомбежку. Иногда въезд в деревню бывал перекрыт жердями, и человек с берданкой проверял приближающихся: "Жидов тут нет?". Я объяснял себе: жители опасаются фашистской мести. Но подслушанные разговоры ошеломили меня. Оказалось, крестьяне ожидали прихода немцев как освобождения. В тех деревнях узнал я о многолетнем недоедании, об ужасах коллективизации, о трагической судьбе тех, кто выжил. Эти воспоминания, думаю, имеют отношение к вопросу о том, почему люди идут в социологию. Во всяком случае, больше мне в голову не приходило заниматься приручением тутового шелкопряда к ленинградскому климату.

Когда исполнилось пятнадцать, я остался один. Отец был в армии. От голода и болезней во время эвакуации погибли бабушка, дед, мама, младшие брат и сестренка. Ночью, в полубреду, в другой больнице видел, как умирает мать. Плакал, просил остаться. Сквозь слезы она ободряла меня... Утром врачи проверили по телефону — действительно, она скончалась. В тот день мне дали вторую порцию затирухи, и я съел ее без остатка.

Меня пристроили в школу пилотов — там не хватало obsługi. Сначала только учили, потом закрепили два самолета — учебные "У-2". Доверены жизни людей. Если ты разбираешь мотор — сам поднимаешься в воздух с командиром-инструктором. В зоне высшего пилотажа два часа — проверка на надежность.

В эскадрилье дисциплина жесткая, но ничего похожего на нынешнюю дедовщину. Заботились. Я даже в школу вечернюю стал ходить. Нарочно, бывало, в комбине зоне придеешь, в парах бензина — знай наших, девчата! Конечно, не это главное. Учиться-то в самом деле хотелось. Очень.

Кто-то из курсантов читал Дениса Давыдова:

"Мы живем в едино время,  
Только жребий наш иной:  
Вы оставлены на племя,  
Я назначен на убой."

Запомнилось. Вспоминалось при мысли о тех, кто имел возможность заканчивать институты, аспирантуры... Кто после войны ходил такими барами-господами.

У меня армия забрала семь лет. Но образование все-таки получил. Демобилизовавшись, вечерами работал, а с утра — в Университет. Посещал самые интересные на всех курсах — по своему выбору — лекции. Философский факультет окончил за три года. Дипломная работа была о развитии философии в произведениях И.В.Сталина. Такое было время. Через несколько лет, на юбилейном капустнике факультета Игорь Николаев под овацию читал из Маяковского:

"Мы диалектику учили не по Гегелю!"

Когда получил диплом, меня перевели на работу в райком партии. При Сталине это — высшая власть в районе, бастион социальной справедливости. Это без кавычек. К нам приходили люди за правдой. От работников РК ВКП (б) строго требовалось "держаться в чистоте высокое имя члена партии". Льготу нас не было, одевались скромно — я поначалу просто форму донашивал. Да разве же это — главное?

Когда в организацию приходил "товарищ из райкома", не приходилось сомневаться, что партийцы выскажут все, о чем сказать или не решались, или считали бесполезным. А как боялись нас, как извивались всякие гешефтмейкеры! Не случайно теперь они сносят памятники, спешат переименовывать улицы. Не верьте им!

Однажды, уже при Хрущеве, я проводил собрание, чтобы организация выделила ("рекомендовала") тридцатитысячника — человека, который поедет работать председателем отстающего колхоза, поднимет его. Выступающие усердно объясняли друг другу, как необходимо сейчас помочь сельскому хозяйству. Но лишь называли конкретного кандидата — солидный, с опытом руководящей работы мужчина вдруг становился таким беспомощным ребенком, называл десятки причин, умолял понять, что его посылать ну никак невозможно.

До одиннадцати вечера ничего не решили, собрание перенесли на следующий день. Недовольный, я шел домой по обезлюдевшей уже улице. Шагов на несколько впереди — хорошо одетые ("сытые") мужчина и женщина, еще дальше — девушка. Больше никого, только вдруг навстречу — ватага юнцов. Окружили девушку, гогочут. Возможно, я бы постарался "не заметить", пройти мимо, не связываться. Только тут идущая впереди пара, вмиг потеряв свою чинность, ринулась на противоположную сторону улицы. Противно! Я рванулся к юнцам, кого-то схватил за шиворот: "Вы что, гады?" Они оробели, запричитали: "Да мы пошутили", "мы больше не будем"... Девушка убежала. Я произнес что-то назидательное, отпустил пацанов. И вдруг заметил: коленки трясутся. Но приходила гордость собой: я ведь не то, что тот "жирный пингвин". Утром в райкоме заявил: "Уговаривать больше не пойду. Сам поеду. Прошу рекомендовать".

Направили в Лугу. Первый секретарь А.С.Дрыгин приглашает в машину — едем знакомиться с районом. Где-то в поле останавливает. Выходим. Показывает всходы: "Что растет?" А мне, горожанину, откуда знать? Отвечаю: "Злаки". Первый ухмыляется, решает: "Ясно. Будешь заведовать отделом пропаганды и агитации".

Сельский райком. Зарплата — чуть ли не вдвое ниже, чем получал в городе. С жильем туго — первые полтора года жил (сон, завтрак и ужин) в собственном кабинете. Первый секретарь крут. Однажды захожу к нему в кабинет, когда он по телефону говорил с председателем-тридцатитысячником, кандидатом экономических наук. Не говорит — кроет его в мать-перемать отборными словами. Тот, видимо, возмутился, потребовал извинений. "Я тебе, так твою мать, извинюсь. На колени перед тобой встану, прощения попрошу — если к двадцатому сев закончишь. Обещаю. Но и

предупреждаю: не отсеешься в срок — клади партбилет!"

Волевыми методами Дрыгин поднял-таки район, сам пошел на повышение (позднее дорос до члена ЦК КПСС, был первым секретарем Вологодского обкома; когда пришел Горбачев, Дрыгин подал в отставку; ему дали орден и отправили на пенсию). А в Луге достойного преемника найти было трудно. Поставили первым до пленума председателя исполкома.

К тому времени люди стали говорить вслух то, о чем прежде только шептались. Помню, еще в студенческие годы заночевал у меня однажды А.Здравомыслов. Всю ночь мы проговорили о "внутреннем положении", а потом долго он меня сторонился. В те годы каждый мог заподозрить в другом провокатора и стукача.

Теперь по должности я имел доступ к "закрытым письмам" Хрущева, к статьям Тольятти, речам Гомулки. С разных позиций все осуждали последствия культа личности. В частности, убедительно говорилось, что отсутствие демократии в партии — признак недоверия коммунистам.

И вот накануне пленума райкома черт дернул меня рассказать кому-то анекдот: мол, привел Бог к Адаму Еву и сказал — выбирай себе жену. Из моих слов следовало, что нелепо созывать пленум, чтобы из одной кандидатуры "выбирать", что надо бы предложить хотя бы еще одну кандидатуру. Донесли, еще и прибавили. Разразился скандал. Люди, с которыми еще вчера был "на ты", с кем вместе выпивали, теперь при встрече не узнавали меня, делали каменные лица. Вызвали на бюро, посадили на "позорное" место — в конце стола. Выражая мнение собравшихся, первый уперся взглядом: "Единство партии подрываешь! Директивой десятого съезда пренебрег! Империалистам способствуешь!" Вижу, районный начальник КГБ уже "сделал стойку". Пытаюсь что-то сказать — окрик: "Склони голову перед Партией!" Я — одинок. Обречен.

Мои мучители не заметили, что эпоха-то изменилась. О "ЧП" доложили наверх, немедленно приехал секретарь обкома Корытков. Часа два просидел он со мной за закрытыми дверьми. То выспрашивал, выяснял мое мнение. То сам объяснял: ну, чего ты этим путем добьешься? Допустим, предложили на выбор двоих — который уже работал первым и другого, которого никто не знает. Ясно, что первый кого-то успел обидеть, кого-то прижал, где-то сорвался. У другого же врагов нет. Большинство окажется за второго. Но ведь он еще никак не показал себя. Он даже района не знает. Ну, так кому нужна такая демократия?

Потом только я понял, что выбирать надо не между личностями, о которых большинство знает лишь со слов заинтересованных лиц. Должны быть хотя бы две партии, выдвигающие своих кандидатов и несущие за них ответственность. При Хрущеве осуществить это не удалось. А моя история закончилась тем, что освободили от должности "по состоянию здоровья". Вернулся в Ленинград, а через несколько месяцев получил должность в аппарате обкома и горкома КПСС.

Пропаганда тогда велась очень неубедительно, декларативно. Население же считало, что жизнь стала хуже, чем до войны. Я копался в документах, собирал цифры и факты, анализировал. Выяснилось, что очень возросли потребности, хотя объективные показатели теперь значительно выше довоенных. Материалы начальству понравились. В историческом зале Таврического дворца собрали партийно-хозяйственный актив города. Президиум заняли члены бюро горкома. Я на той самой трибуне, с которой выступали члены последней III Государственной Думы. Ощущаю ответственность. Докладываю обстоятельно, более двух часов. Потом еще часа три — ответы на вопросы. Но никто не уходит. Поступают записка за запиской, отвечать надо без промедления.

Я держался до смешного бойцовски. Вопрос: может ли прожить на названную

мною (среднюю годовую) зарплату семья из четырех человек: муж, жена, двое детей? Отвечаю наступательно: "Поставим вопрос иначе. Могла бы такая семья прожить в Америке? Каждому ясно, что нет. А у нас? Живут..." Хохот зала покрывает мои слова. Я оглядываюсь на членов бюро. Они тоже смеются...

А вскоре было принято решение: рекомендовать меня в аспирантуру по социологии, в Институт философии АН СССР. Психологи знают, что бесполезно спрашивать человека о мотивах: в лучшем случае получишь "рационализацию". И все-таки — почему я поехал в Москву? Ведь имел оклад значительно выше среднего, спецпечение, кабинет с креслами и диваном, недавно женился и к свадьбе получил новую квартиру... И променять все это на чужой город, сторублевую стипендию, общежитие...

Конечно, я решился на это не сразу. Конечно, собирать "цифры и факты", анализировать их куда интереснее, чем разьяснять очередное постановление. А быть ученым, профессором почетнее, чем партийным функционером. Однажды я попросил блиставшего тогда А.Г.Харчева задержаться у меня в кабинете, стал советоваться: не перейти ли мне в науку? Тот ответил дипломатично: "Каждый человек хорош на своем месте". Значит, в Ленинграде считают, что я больше ни на что не годен? Тогда обратимся в Москву.

Позвонил в ЦК КПСС, попросил прислать лекторов по социологии.

Приехали профессор А.А.Зворыкин и кандидат философских наук Г.В.Осипов. Распланировал их работу: в обеденный перерыв — на заводах, в конце дня — в Доме политического просвещения. Днем звонок с Металлического завода: провал, лектора народ не принял. Вечером приглашаю Осипова в ресторан, обсуждаю его неудачное выступление. "Разумеется, отзыв в ЦК будет положительным". Потом приступаю к вопросу о себе. Геннадий (мы уже перешли "на ты") обещает помочь поступить в аспирантуру (в будущем году меня уже не примут по возрасту) и советует еще в Ленинграде сдать кандидатские экзамены.

Тогда в перспективность социологии поверили многие. Ко мне на работу пришли однокурсники — Здравомыслов и Ядов. После общих слов спрашивают: с кем бы лучше поговорить, чтоб получить помещение "под социологию"? Обидно: меня не пригласили, даже не рассказали о своих планах. Воспринимают через стереотип чиновника. Как чиновник оказываю содействие. Но что-то вы скажете, когда я окажусь в Москве?

Преподаватели ЛГУ знали, где я работаю. Кажется, им доставляло удовольствие задавать вопросы, на которые я не мог ответить, а потом делать сочувственную мину: "Вы понимаете, больше четверки поставить никак не могу". При том, что я заслуживал двойки, какое великодушие! Но унижение оправдало себя. В Москве оставалось сдать только специальность, высвобождалось время для серьезной — очень серьезной — подготовки.

Итак, я в Институте философии АН СССР. Посмотрим, что это за "защита диссертации". Сажу рядом со штатным сотрудником института. Немного послушав, спрашиваю его: "Здесь всегда такую ахинею хвалят?" Ю.Н.Козырев не реагирует, но спустя некоторое время толкает меня в бок: "Скажи, как на мне рубашечка?" Я недоумеваю: "Ничего особенного. Рубашка как рубашка." "Не будет из тебя академика. Ну что стоило похвалить? Тебе-то все равно, а мне бы приятно..."

В институте присматриваются ко мне с интересом. Немолодой уже человек останавливает в коридоре, интересуется биографией: "Так, армия семь лет, потом еще семь — партийная работа". Заключает назидательно: "Реальной жизни не знаешь. Надеешься тут из трех книжек четвертую сделать и назваться ученым?" Спрашиваю, а что бы он посоветовал. "Начни сначала. Поступи на завод, поработай, осмотришь,

поднаберешься ума". Такое слышать обидно, но ведь "назвался груздем".

А Осипову идея понравилась: "включенное наблюдение". Он хлопочет в дирекции, организует звонок на завод им.Владимира Ильича, всячески меня опекает. Заботы облегчают мне адаптацию, я благодарен. На партийном собрании считаю своим долгом положительно оценить его поведение. Понимания не встретил — возможно, посчитали подхалимажем.

А я все больше восхищаюсь своим завсектором. Доходит до влюбленности: ловлю каждое слово, вижу во сне, ревную. Без обсуждения принимаю к исполнению любой совет. Мог ли я предвидеть разрыв? Тогда установились вполне определенные отношения: я — Вадим, он — Геннадий Васильевич.

В воскресенье весь сектор собирается у Осипова на даче. Выпиваем и закусываем (до сих пор не знаю, за чей счет, мне о деньгах не говорили). Вольные разговоры обо всем. Песни под гитару. Впервые слышу о цветах на нейтральной полосе, о том, как боль, похожая на скворчонка, стихает в ночном троллейбусе. Эдик Орлов и Варлен Колбановский поют что-то едкое об институте, который на "Волхонке, где бассейн". Есть у нас и общий враг — полуграмотный догматик от исторического материализма и научного коммунизма. После того, как в Литературной газете появился образ претенциозного недоучки Евгения Сазонова, молодые философы придумали своего — профессора Полупортянцева.

Ощущение такое, словно вырвался в мир, поражающий яркостью красок. Газета родного города заказала мне материал для рубрики "Москва и Ленинград соревнуются". Первую корреспонденцию я начал фразой: "Чем москвички отличаются от ленинградок? Они моложе!" Аспирантское общежитие — плацдарм молодости, творчества, любви. Здесь перемешаны все специальности. В комнате со мной живет кристаллограф, рядом — математик, филолог, химик. Все из разных республик — таджик, украинец, армянин. Мы говорим обо всем — о науке своей и чужой, об искусстве, о политике. Запрещается только повторение официальных штампов, занудство.

Спать ложимся за полночь, а утром рано — на завод. Для начала я зачислен учеником слесаря. Полная анонимность. Легенда: демобилизованный майор, вечерами учится в электротехническом институте, нужен заработок. Ношу военный китель и брюки с кантом, постепенно вхожу в доверие. В цех приходят друзья-социологи: Н.Валентинова, С.Гурьянов, Н.Наумова, В.Шубкин и другие. Делаем вид, что мы незнакомы. Они распространяют анкеты, а я вечером сопоставляю ответы с тем, как себя ведет и что говорит своим ребятам этот же респондент. Существенной разницы не заметил — то ли вопросы были очень невинные, то ли действительно рабочим нечего терять...

Обработка анкет показала, что различия людей в зависимости от пола, возраста, образования внутри одного коллектива меньше, чем в зависимости от принадлежности к разным коллективам. Что же — есть резон говорить о "групповом разуме"?

После проведения социометрического теста попросил социологов принести в цех социограмму. На ней положительное отношение (выбор) обозначен стрелкой, отрицательное — "ухватом". От начальника участка к рабочему К. идет "ухват", и обратно такой же. Действительно, не проходит собрания, чтобы этот К. не выступил с критикой непосредственного руководителя, и ежедневно ему достается самая невыгодная работа. Я "похищаю" социограмму, быстро переделываю один из "ухватов" на стрелку и подхожу к мастеру. "Вот, смотри, что у социологов лежит". Он замечает идущее к нему от К. хорошее отношение, но виду не подает. "Положи на место". Разумеется, только сначала еще раз переделаю обозначения и покажу К. "Вот видишь, ты к человеку "ухватом", а он тебя ценит. Ученые выяснили". На следующий день

наблюдаю, как эти двое, словно любовники после ссоры, украдкой поглядывают один на другого — проверяют полученную "информацию". Потом один получает работу получше — примерно такую же, как и все. Шаг осторожный. Но собрание проходит без критических выпадов. Шаг за шагом отношения между ними нормализуются.

Я не скрывал, что состою в партии — иначе бы как мне стать майором? На взаимоотношения, видимо, это не влияло. Правда, раз подошел молодой рабочий, советует: "Знаешь, голова у меня учиться не позволяет. Думаю в партию вступить. Смотри, вот Н.Н. — ни фиги не знает, работа — только покрикивай, а деньги идут — дай Бог. Партийность!"

В дни работы XXII съезда КПСС по заводскому радио команда: вместо обеда коммунистам собраться в определенном — самом большом — цехе. Людей набралось много, стоим плечом к плечу. Приехал видный партийный деятель, вышел на импровизированную трибуну, сказал примерно так: "Через десять минут мне надо быть на съезде. Там вскрылись ужасные преступления Сталина. Мы считаем, что ему не место в мавзолее рядом с нашим вождем и учителем. Просьба поддержать наше мнение".

Голосуем. Кто "за"? Поднимаем руки. Кто против? Таких не видно. Деятель берет микрофон: мол, спасибо, товарищи. Остается недоумение — ведь он ничего не объяснил. И не по-русски как-то — покойников перетаскивать. Неужели это и есть хваленая сознательность рабочего класса?

Незадолго перед тем был случай: заметили, что на участке исчезают ценные детали. Подозрение пало на одного из рабочих. К администрации никто не обратился, ничего не сказали. Двое подошли к мастеру, попросили увольнительную — личные, мол, причины. И поехали к подозреваемому домой. Подошли к матери — дескать, Саша просил привезти кое-какой инструмент. Та указала на чемодан — смотрите сами. Они вынули из чемодана ворованное, привезли в цех, там развернули. Александру задали несколько вопросов, затолкали его в угол, не видный от прохода. Били молча и жестоко. Сказали, чтоб немедленно подал заявление и больше на заводе не появлялся. "Увидим еще раз — убьем". Вот она — "неформальная социальная санкция". И — тут же — отношение к формальной структуре организации.

Как получилось, что моя анонимность была раскрыта? Не знаю до сих пор. Только однажды, когда раздался сигнал на обед, никто не бросился, как обычно, занимать очередь в столовую. Я пошел к двери — но на пути стоял человек. Я его обошел, но наткнулся на другого. Почуввав неладное, решил совершить обходной маневр, но опять в кого-то уперся. И вот уже я в том самом, не видном из двери углу, где "учили" Саньку. А передо мною, ряда в три — рабочие. С какими-то очень чужими, словно омертвевшими, лицами. В голове проносится: будут бить. И пополз противный, липкий страх. И очень тягуче, медленно-медленно прозвучало:

— Ты зачем нас обманывал?

Это — Афанасьев, известный на участке правдолюбец, направляет на меня свою и чужую ненависть. Я пытаюсь сыграть под дурачка:

— Ребята, вы бы смеяться стали, если б узнали, что я — философ! Вроде бы отлегло... Я почувствовал, что откатились назад. Но не надолго. Афанасьев опять атакует, ставит вопрос ребром:

— Ну, а скажи: ты в коммунизм веришь?

Как это сложно! Но в этой ситуации отречься невозможно:

— Верю!

— А мы — нет!

Это Афанасьев кричит остервенело мне в лицо. Почему-то он еще не дает сигнала бить. У меня есть какие-то секунды, доли секунд. И я говорю. Потом я никогда

не смогу вспомнить, какие получились слова, но я принял вызов. Я говорил, что коммунизмом нельзя называть ту мерзость, которая нас окружает, что растрепал, пустил по ветру это прекрасное слово Хрущев. Нет, коммунизм — это честно, светло, прекрасно. И такое время придет. Наверное, тогда получилось убедительнее.

Афанасьев отвернулся к своему верстаку, вытащил спирт, кружку, налил доверху:

— На, пей, ты — наш!

Надо ли говорить, с каким облегчением выпил тогда до дна, не отрываясь. Но был ли я тогда вполне честен?

В те месяцы я заново должен был разобраться в жизни, в себе самом. Это главный итог "включенного наблюдения", социологической аспирантуры. Когда с утра слышал рабочие матерки по поводу "такой жизни" (Афанасьев кричал: "Сейчас все воруют!"), а с завода ехал, переодевшись, в институт и там, по случаю, пил "за победу коммунизма в Африке!" В общежитии гуляли листки самиздата, самостийный филолог всерьез обсуждал, почему бы Украине не отделиться от СССР — его аргументы не были наивным дилетантизмом. В столовой вел доверительные беседы проповедник сионизма. А после одного заседания сектора я нечаянно услышал фразу очень авторитетного Ю.А.Левады — мол, истории известны и тупиковые пути развития.

Однажды от ЦК КПСС поехал с лекциями в Оренбург. Выступал в разных аудиториях, но всюду люди говорили, как трудно с жильем, и возмущались: секретарь обкома по идеологии, женщина несемейная, получила квартиру свыше ста метров. Перед отъездом я спросил у нее — верно ли? Она разгневалась: не их, мол, дело, дом построен на партийные деньги, ей квартиру дала партия. Отчитываясь о командировке, упомянул об этой истории в ЦК. В ответ услышал: что ты удивляешься, посмотри, в какие хоромы московские секретари вселяются!

Разговор происходил в дни, когда у меня вообще жилья не было. Истек срок аспирантуры, а значит и право на общежитие. А я уже имел тысячную аудиторию в школе социолога при МГК ВЛКСМ. После лекции ведущий сделал объявление, и одна из слушательниц — Лена Кириллова — предложила свою однокомнатную квартиру, на время сама переехав к подруге. (Позднее ленинградский социолог А.В.Баранов помог с междугородним обменом жилплощади.) По нынешним временам это звучит невероятно, но она наотрез отказалась говорить о деньгах.

Люди многого ожидали от социологии. Фактически она выполняла скорее идеологические функции, она канализировала эмоции. В подвале на Писцовой у меня было три (а потом два) штатных сотрудника. Но в наших собраниях обычно участвовало два-три десятка энтузиастов (в их числе ставшие позже профессорами А.И.Антонов, Г.Г.Дадамян, В.Л.Леви, Э.А.Орлова и многие другие, не жалевшие на социологию своего свободного времени). Они обрабатывали материалы исследований, выступали с докладами, коллективно (разбив на куски) переводили зарубежные книги по социологии. Практиковался обмен переводами с Ленинградом и Новосибирском. Много полезного сделала В.Ф.Чеснокова.

Я английский язык знал плохо. Но как можно без теории обрабатывать эмпирический материал? Учившийся в США польский социолог А.Матейко рекомендовал прочитать книгу Т.Шибутани. Но чтобы усвоить концепцию, надо иметь перед глазами полный текст, доступный пониманию. Пришлось переписывать книгу по-русски, почти каждое слово определяя в словаре. И так — двадцать девять учетно-издательских листов. Не по договору, не за деньги — только для собственного употребления. Правда, позднее стараниями Г.В.Осипова удалось пробить типографское издание перевода. Но тогда пришлось еще раз заново перевести весь текст.

Некоторые смеялись: стоило, мол, поступать в аспирантуру, чтобы работать

переводчиком. А я знаю — нельзя выполнить перевод, не будучи специалистом в соответствующей отрасли знаний. И еще: честнее издать полный перевод, чем пробежать глазами иностранную книгу, ухватить что-то из содержания и опубликовать под своим именем. Еще Достоевский высмеял того школьника, который взглянул на карту звездного неба и вернул ее исправленной.

Академик А.Н.Леонтьев поручил мне факультативно прочитать в МГУ курс социальной психологии — впервые после многолетнего отрицания этой науки. Занятия проводились вечерами. Однажды материал не уложился во времени, но никто не хотел целую неделю ожидать продолжения. Охранники просили освободить помещение, потом погасили свет, выгнали нас во двор — ту лекцию я заканчивал при свете факелов, которые соорудили студенты. Социология выступала достойной альтернативой атмосфере занудства и лжи, которая нас окружала. Нам противодействовали догматики — но их было немного по сравнению с теми, кто нас поддерживал, шел за нами.

На втором международном ("братских стран") симпозиуме по социальной психологии (Тбилиси, 1.970) основной доклад был поручен мне. Написать текст не успели, и я выкладывал, что наболело: о заидеоло-гизированности науки, о невежестве остепененных ученых, об отставании нашей психологии от американской. Резкое, вне рамок дозволенного в те годы выступление было записано на магнитофон. А на следующий день приехала группа москвичей, в которой предполагался "стукач". Грузинские коллеги (В.Квачахия, Ш.Надирашвили и другие) быстренько изъяли пленку с докладом, и никто из приехавших не смог до нее добраться. Только перед самым вылетом тайно передали мне этот документ.

При Брежневе административно-командной системе противостоял широкий фронт ее противников, не имевших конструктивной программы, но всегда готовых продемонстрировать свое негативное отношение. В те годы на место традиционных лекций "о внутреннем и международном положении" вышли "устные журналы", встречи с "интересными людьми". Впервые в такой обойме я оказался на вечере в Обнинске. Дали мне полчаса. Старался быть конкретным, не обходил острых углов. А выступавший после меня Юлий Ким подхватил тему, исполнив свою песенку о положении учителя обществоведения в школе:

"Я им говорю: это так-то и так-то,  
А что не так — значит ложь.  
А они мне: факты где, факты где, факты -  
Аргументы вынь да положь..."

Даже в университете марксизма-ленинизма, оказалось, можно было обойтись без пересказывания классиков и славословия. Однажды после лекции подходит немолодой уже человек, благодарит: "Всю жизнь я охвачен политпросвещением. И все время меня учат, как управлять государством. А я — начальник цеха. И вот сегодня впервые услышал о том, что мне действительно нужно для дела".

Публичные выступления позволяют почувствовать настроение, провести блиц-опрос, с кем-то поговорить, а то и завербовать себе добровольных помощников. К тому же это серьезная прибавка к заработку. Однако уходит время, разбрасываешься...

Сотрудник моего сектора, А.У.Хараш, однажды прямо спросил: в чем я вижу цель жизни? Ответил скромно, что при таком отставании страны сказать новое слово в науке невозможно, следовательно, наш удел — всего лишь "унавозить почву".

Но мысль работала, и вырисовывался нетрадиционный подход к изучению организации. Ключевыми словами были "коммуникация" и "выработка решения". Выделялись поля согласованного взаимодействия, внутри которых предполагалось



сходство участников по критерию активизированных когнитивных структур. На социологическом конгрессе в Варне я показал текст доклада знаменитому Крозье, который руководил секцией социальных организаций. Он посоветовался с коллегами, и я — единственный из русских — был включен в список докладчиков. Причем сделано это было по ходатайству французской (а не советской) делегации.

Однако последовал конфуз. Изучая язык своим способом, я научился читать, даже немного писать, но у меня абсолютно не было поставлено произношение. На международной встрече во мне заговорил патриотизм. Показалось, что плохим английским я опозорю свою страну; избрав же русский, подкреплю его международный статус. В итоге большая часть иностранцев покинула зал. Может быть, оказался не на высоте переводчик, но главное в том, что я избрал неверную тактику. Даже с трудом выговаривая слова того языка, которым владела аудитория, я бы продемонстрировал, что уважаю ее, стремлюсь установить с ней контакт. Вышло же наоборот: я предложил ей дотягиваться (с какой стати?) до своего языка. Потому и не получилось общения. А спустя пару лет в США была опубликована работа во многом сходного содержания.

В семидесятых-восьмидесятых годах социология все более становилась органической частью советского истеблишмента. На ключевые посты приходили новые люди, имевшие связи в партийных верхах и увенчанные высокими степенями. Романтику первопроходцев вытеснял корпоративный дух чиновничества. Насаждались бюрократические процедуры, чиновничество. Если в шестидесятые годы для энтузиастов социология давала личностный смысл жизни, была ее целью, то для нового поколения она все чаще становилась средством укрепления своего положения в системе, приобретения чинов и материальных благ. Соответственно расцветала апологетика и велась борьба с несанкционированным направлением мыслей.

Сектор социальной психологии в институте был упразднен, но с помощью Г.М.Андреевой я нашел место в одной из лабораторий МГУ. Меня, однако, "достали" и там, обвинив в "протаскивании буржуазных концепций". Значительно дольше удалось продержаться в Институте общей и педагогической психологии Академии педагогических наук. Но в один далеко не прекрасный день В.В.Давыдова, директора института, вызвали на бюро РК КПСС и потребовали избавиться от нежелательных элементов. В "черном списке" фигурировал и я.

— За что я их уволю? — задал он вопрос.

— Хороший директор всегда сможет найти — за что.

— Но я не хочу быть таким директором!

За дерзость Давыдова исключили из партии. На эту должность поставили другого человека, и он послушно выполнил решение директивных органов.

Уволенный "по списку" оказывался в отчаянном положении непонятно, за какие конкретно грехи его наказали и что будет дальше. Приказ сформулирован так, что никакой суд не примет жалобу к рассмотрению.

Поскольку жизнь шла от полочки до полочки, то жить просто не на что. Семья в панике. От него "на всякий случай" отдаляются сослуживцы, наиболее догадливые (от слова "гад") карьеристы с остервенением ищут в его действиях криминал, поднимают шум ("реагируют"), ускоряя перекрытие кислорода.

— Ну, что, — восклицает при встрече со мной Г.П.Щедровицкий, — и меня, беспартийного, и тебя, большевика с тридцатилетним стажем, поганой метлой! Так есть ли она вообще, твоя партия?

Партия была "моей" очень давно, где-то в пятидесятые годы. Теперь же я ненавидел пышущих здоровьем, лощеных и надменных молодых людей, занявших кресла в райкомах. Ненавидел обитателей кабинетов на Старой площади, которые на

вопросы и просьбы увольняемых отвечали заученной фразой: "здесь не биржа труда". Тем более ненавидел работников КГБ, строивших собственную карьеру буквально на чужих костях.

Я понимаю тех, кто в памятные летние дни пытался сравнить с землей символы КГБ на Лубянке, кто вытряхивал из насиженных кабинетов номенклатурные кадры, кто стремился во всем поступать "от противного" — даже воздавая почести не защитникам, а предателям Родины. Это — логика эмоций.

К сожалению, социологи не предвидели все опасности массового эмоционального взрыва. Большинство ушло в изучение "микросоциальных" процессов. Может быть, в те годы иное было просто невозможно. Однако случившаяся национальная катастрофа предоставила социологам возможность на деле доказать полезность своей науки.

Признаюсь, сегодня я понимаю уже далеко не все происходящее. Не уразумею я, в частности, некоторых своих коллег, что нашли свое место в коммерческих структурах и в "демократических" (проправительственных) партиях. Они уверяют меня, будто нет никакой катастрофы, будто все "так и надо". Они уверяют, что я просто отстал от времени, "мыслю категориями вчерашнего дня", так и остался "шестидесятником".

Я не обижаюсь. В шестидесятые годы люди служили социологии, а не стремились поставить ее себе на службу. Много в обществе их не устраивало — но они искали путей вперед, а не назад. И еще: вынужденные черпать знания из зарубежных источников, они делали это избирательно, ни в коем случае не отрицая и не охаивая прогрессивных национальных традиций.

О нашем поколении, значит и обо мне, написал Ю.Левитанский:

"И убивали, и ранили  
Пули, что были в нас посланы.  
Были мы в юности ранними —  
Стали мы к старости поздними."